

1

**ЯНВАРЬ / МӀН КӀРЛАЧ —
БОЛЬШОЙ МОРОЗНЫЙ
МЕСЯЦ**

ТРОЛЛЕЙБУС

Под далеким мостом на Йошкар-Олу, Вятку, Сыктывкар загорелись китайские диоды холодного спектра. Это, я знал, были снегоходы на ледяном фарватере Волги. Кырлач — единственный чувашский месяц, название которого не могут перевести все живые поколения. Говорят, что «морозный». Мне же кажется, что «черный»: цвет зимы вовсе не белый, а черный, как там, за мостом.

Январь, кырлач: вороны с набережной чистят клювы о яхты. Кыр, кыр. Кыр. Впрочем, я русский.

На Волге давно уже встал лед, и с приходом эпидемии, как с приходом зимы, все вокруг меня утвердилось на своих местах самым странным, но естественным образом. Так узоры мороза причудливы, но принадлежат лишь природе. После Нового года вслед за офисом я должен был перебраться в один из небоскребов Москвы-Сити, в место, ставшее для многих тридцатипятилетних москвичей неизбежным и неудобным, как новая зубная пломба. Как-то я даже заблудился в переходах этого ветреного полигона чужих амбиций.

Пусть не сразу, но я в самом деле оказался за ноутбуком в здании из стекла и бетона у большой реки. Но не в небоскребе, а в шашлычной на набережной Чебоксар с ее низким потолком, двумя столами, тремя окнами и стеклянной дверью. Здесь, у электрического обогревателя и у Волги в ее широком течении, я ликовал. Смертоносный вирус удивительным образом поменял жизнь многих из тех, кто им заразился — а заразились почти все — и смог выжить. Будет честным назвать мой переезд из Москвы в Чебоксары эмиграцией — и всего лишь возвращением для моей жены. Все это не должно было случиться, но случилось. Я же, повторяюсь, ликовал и с удовольствием отмечал, как дата на обратном билете сдвигается к последним числам едва начатого календаря, а потом и вовсе выпадает из него. Принудительная изоляция оказалась для меня высвобождением.

С утра на лед реки Адал, реки им. Аттилы, с набережной выходили семьи и сноукайтеры. «Разливного нет, берите бутылочное, чай берите», — говорила женщина за стойкой то мне, то кому-то рядом. Я работал за компьютером и посматривал иногда на черные точки людей и на кайты. «Это все же колониалистский бёрдвотчинг», — говорила жена. Она была рядом и проводила пустое для себя время со смартфоном. Для нее, чувашки, бескрайняя январская Волга была не интереснее рисунка обоев в родительской квартире.

В тот вечер заданий из Москвы мне больше не приходило, и мы засобирались домой. Жена встала из-за стола и поправила юбку над шерстяными колготками. У высоких чувашек и, часто, татарок бывает узнаваемая форма ног. В ней есть хрупкость и какая-то целомудренность — натуральная, не вполне человеческая, вроде как у олененка Бэмби.

Чьи-то дети бежали по набережной к насосной станции конструктивистской архитектуры. Если бы я мог позволить себе построить особняк, он был бы похож на чебоксарскую насосную станцию.

С набережной мы поднимались по лестнице через лес в Северо-Западный район, к троллейбусной остановке. Город оставался внизу с его насосной станцией, негордой провинциальной церковью, затопленным центром — всем тем, что должно было быть главной городской площадью, но инженерным решением превратилось в Чебоксарский залив. С какими-то новыми высокими домами на горизонте.

В выходные дни их жильцы разъезжаются по деревням, и панорамные окна, и стеклянные балконы с икеевскими столиками стоят полные мраком, как брошенные избы. Инженер, затопивший город, был не равнодушнее к нему, чем его жители.

Наверху у троллейбусной остановки рыбаки в камуфляже продавали зимних, желтых от жира лещей. К этому часу бескостных налимов давно

должны были разобрать и разобрали. За рулем троллейбуса сидела русская женщина в свитере с огромным вырезом. Она зевнула, потом еще, и фонари за окном поплыли в сторону. Совсем старая кондукторша встала со своего деревянного стульчика в углу и пошла вдоль рядов сидений настолько неспешно, насколько это было возможно, чтобы проверить у всех билеты точно до следующей остановки.

— «Щендеру Туреме», — объявил предпоследнюю, нашу, остановку ласковый голос из динамика.

На площади бетонный Ленин все шагал к школе с параллелепипедом кладбищенского гранита у дверей. С мемориала на Ленина смотрел погибший в Афганистане чувашский парень. Посмертно ему дали соответствующий подвигу орден и недавно нарисовали его, орден, рядом с портретом. ŞenterǗ TǗremǗ — площадь Победы.

— Здравствуй, — сказала вдруг старая кондукторша моей жене.

— Здравствуйте, — растерялась та. — Салам.

— Я тебя помню. Я работаю на этом троллейбусе двадцать шесть лет.

АКТРИСА

Было же слово «пурга», и имело оно почти тот же смысл, что «метель», но только сильнее и равнодушнее к человеку. Пурга! На чувашском языке — *Џил-тăман*, «*щил-тэман*», буквально «ветер с метелью». Продувается огромное поле, а здесь все поля огромные, свистит ветер в столбах, на которых летом держатся плети хмеля, полон ветер снега. Из пурги может выскочить заяц: все для русской литературы, до смешного, но вот так и есть.

Есть еще, правда, подогрев сидений, климат-контроль, АБС и другие какие-то системы, совсем не литературные. При всем этом не так уж важно, чем отличается пурга от метели или даже просто от осадков. Лишь легкая неуверенность на снежных наносах, огнестрельный мат вслед рыбакам в смертельных «жигулях», бесстрашно и пьяно пошедшим на обгон в темноте.

После свадьбы, где я был гостем из Москвы, предстояло вернуть чувашские платья и хушпу, эти женские шлемы-шапки, пожилой актрисе. Она приходилась дальней родственницей моей жене, впрочем, кажется, как и все остальные чувашки. Жила где-то в глубине республики,

выступала в главных чебоксарских театрах, держала пару коров. На стене хлева — расчерченное по линейке расписание. В такой-то месяц появится теленок, а в другой вылупятся гусята.

Впрочем, не знаю смысла чувашских месяцев. Известно, что их тринадцать, потому что такой календарь больше подходит для работ на земле. Правильнее было бы сказать «для того, чтобы работать землю», но эти слова сейчас там же, где «пурга».

У русских нет сравнимого отношения к земле. Наверно, имеется что-то другое. А здесь, хотя и живут на широком течении Волги — в плохую погоду не видно берегов, — стремятся вглубь, в свои деревни по краям полей. От Чебоксар, как пальцы от ладони, расходятся шоссе. В Вурнары, там мясоперерабатывающий завод, в Канаш с его уютным железнодорожным вокзалом, в Алатырь, где нет ничего интересного, в бедный Мариинский Посад, который легко полюбить.

Я ехал по Алатырскому шоссе к актрисе в Сириккасы — по указательному пальцу, если считать большим пальцем выезд на федеральную трассу в Москву. По пути, в деревне Ишлеи, я знал, можно купить гуся, копченого сома или просто хорошей колбасы, потом будет пасека на южном склоне оврага, а на другом склоне — светлое, как облако, кладбище, на котором нет других деревьев, кроме берез. Потом ферма, полиция за поворотом, чистенькое Аликово

с деревянной детской площадкой у больницы. А потом, как оказалось, одна пурга.

В темноте и сверкающем снеге Сириккасы было не разглядеть. Но что может быть в чувашской деревне? Небесные, бело-голубые избы, будто в пик тяжелому красно-желтому флагу республики, но красно-желтые магазин и автобусная остановка. Нескладные новые коттеджи, трактор в сугробе, собака. Актриса в белом от снежинок платке загнала пса во двор. Маленькая женщина с крупными руками, валенки — заводские трубы.

— Сывлах! — смеется она сквозь снег.

— Что? — спрашиваю. — Что?

Я отдал ей платья и хушпу, поблагодарил, отказался зайти, хотя, конечно, хотелось бы сесть у печки, выпить самогона и закрыть глаза минут на пятнадцать. Ночной снег — самый слепящий. Еще чувашки варят домашнее пиво, легкое и горькое. Мне не очень нравится, но, может быть, оттого, что пьют его в жару на сенокосе, а в моей жизни не было сенокосов. Хотя... и пурги тоже не было до поездки к актрисе, и живого зайца, а он вдруг выскочил на шоссе — бескомпромиссно белый-белый, смешной-смешной...

КРАСНАЯ ГОЛОВА (ХЁРЛЁ ПУҢ)

У приоткрытого окошка в очереди за правдой стояли незнакомые мне люди.

— Как бы не сглазили ребенка, — сказал тесть, авиационный инженер. Он крутил руль, чтобы припарковаться между сугробов у ворот.

— Надо Мише на лбу нарисовать угольком точку, прямо между бровей, — сказала теща, химик с гигантской чебоксарской теплостанции, — так у нас всегда делали. Столько чужих людей рядом с нашим домом!

Из машины мы смотрели на мужчин и женщин у соседского забора. Они, несмотря на дурные зимние дороги, приехали откуда-то с юга Чувашии, испуганные коронавирусом и, еще больше, государственными мерами по борьбе с ним. Миша, мой маленький сын, с интересом разглядывал их «Оку» баклажанового цвета.

— А, — обратился он ко мне.

— Да, маленький автомобиль, — согласился я, — совсем небольшой.

Хирли Буц, как постепенно становилось мне понятно, имела малообъяснимую чувашскую профессию то ли колдуньи, то ли гадалки, в которой она была куда более успешной

и знаменитой, чем я в своем писательстве. В окошке дрожал уголок шерстяного платка востребованного специалиста, а перед лицом спрашивающего появлялась иногда уверенная рука с мягкими пальцами.

В своей деревне ее не очень любили. Но, опять же, для писателя нелюбовь вкупе с популярностью становится высшей точкой в карьере. Так говорят, во всяком случае. Хирли Буш определенно знала свое дело.

— Хёрлэ пуç — красная голова, то есть рыжая, — объяснила Лена, пока мы разгружали машину и затапливали печь в деревенском доме ее родителей, — я и не знаю, как ее зовут по-настоящему. Она работает колдуньей, и у нее много клиентов.

— Понятно, — сказал я, — главное, что она в маске, а в очереди соблюдается санитарная дистанция в полтора валенка.

— В три гуся.

— В одиннадцать поросячьих хвостов.

— В семь миллиардов вирусов... — сказал тесть.

Люди в очереди топтались на крепком январском снегу. Где-то далеко гудел ветер, застревая в перевитых высохшим хмелем столбах, волоча за собой тучи, из которых сыпались острые снежинки. Маленькая чувашская деревня, своими древними основателями спрятанная от зимних ветров в овраге, а точнее, в увале этой красивой земли, отправляла к небу

благородный дым дубовых дров и сонное коровье тепло.

Соседка наконец обслужила всех приехавших, и теперь они возвращались на юг в маленьком автомобиле смешного цвета, выбираясь к трассе по изогнутым — не по-московски, а по-стамбульски — улицам деревни, кружась на перекрестке у ветряной мельницы, жерновое сердце которой остановилось в инфарктном молчании еще до войны с Финляндией. Осенние штормы доломали хрупкие лопасти. Старая собака бросилась вслед «Оке», и ветер долго носил ее лай по огородам, то там, то здесь роняя страшные бессмысленные звуки.

Мне нравился маленький мир, начинающийся у сожженного молнией дерева и продолжающийся дальше по дороге, вдоль искусного каскада из трех прудов, до старых ворот. Они отделяли деревню от ледяного космоса ночных полей с мертвыми ручьями на дне оврагов и ржавыми палками конского щавеля. Я не мог быть его наследником, этого мирка, принадлежащего древнему народу с непробиваемой сложностью языка и смирностью без смирения в характере, но был им принят и радовался тому.

— Раньше чуваши жили в деревне на протяжении семи поколений, а потом уходили на новое место, — говорил электрик с фермы, который занес нам ведро яиц и бутылку молока. Ему дали немного денег и угостили самогоном.

— Зачем? — спросила теща.

— Жизнь кончалась. Вот сейчас как раз седьмое поколение, по-моему, доживает свое. Мы уже восьмое. Что дальше будет? Куда нам уходить?

— Этого никто не знает, — сказал тесть, — я, допустим, ушел на пенсию.

— Хёрлё пуç знает, — сказала Лена, — а вообще, все давно ушли в интернет.

— Надо было все-таки нарисовать Мише точку на лбу, — сказала теща.

Миша с недоверием смотрел на нас из-за печки.

— Обе мои дочери уехали в Москву, — продолжал электрик, — может быть, там и находится то самое новое место.

— Вряд ли. В Москве могут сохранить себя только сами москвичи. Там даже татары теряют себя, а чуваши еще и православные. Еще легче раствориться, — сказал я.

Когда стемнело, я вышел его проводить. Снежные поля отражались в тусклом пасмурном небе, а небо, немногим ярче, отражалось в снегах. В ясные же ночи зимой бывает совсем темно.

— Что это за звук? — спросил я.

— Хёрлё пуç гремит ведрами в коровнике, — сказал электрик.

— Нет, не это. Что это за шорох?

— Что?

— Как это... Маленький звук. Пёчэк звук.

— Юр. Снег.

Он заскрипел по снегу валенками, и железный шорох снежинок сразу пропал за этими

резкими звуками. В темноте исчезала маленькая мужская фигура, чтобы окончательно скрыться за бело-синим домом под шапкой снега, таким же небольшим и таким же пожилым, как этот молодой старик, его хозяин, угодивший в последнее поколение и потому знающий свое будущее лучше деревенской колдуньи. Где-то за третьим прудом пролаяла старая собака.

Утром к Хирли Буц выстроилась новая очередь. Пара средних лет приехала на какой-то китайской машине с ульяновскими номерами. Край шерстяного платка уже трепетал в окошке.

— Похоже, Хёрлэ пуç работает каждый день и получает много денег, — сказала теща.

— И много вирусов, — сказала Лена.

Мы наблюдали за сеансом в окно, через острые и колючие языки алоэ. Вместе с нами завтракала бабушка Лены, мать тещи. Она жила на другой деревенской окраине, возле разрушенной мельницы, и приходила сюда как будто в гости.

— Хёрлэ пуç мне сказала, что у Лены будет два сына, — сообщила бабушка.

— Кугам, не надо ходить к Хёрлэ пуç, ты можешь заразиться, — сказала моя жена, — и вообще не надо к ней ходить.

— Не заражусь. Я ходила к ней отдельно и подарила курицу.

— Интересно, а что они, кроме ковида, привезли ей из Ульяновска в подарок? — сказал тесть.

— А, — сказал маленький Миша, — а!

Предсказание о двух сыновьях прозвучало то ли предупреждением, то ли лукавой радостной вестью. Тогда мы с Леной этого не знали. Не знаем и сейчас, и я, современный человек, должен был бы отказать Хирли Буш в знании моего, да и не только моего, будущего.

Но она, по-деревенски богатая и знаменитая на Средней Волге, просто делала свое дело, не покидая родительский дом у старого пруда, выкопанного для ирригации третьим или четвертым поколением с последними чувашскими именами вроде Илемен или Люченей.

Вечером мы возвращались на машине в Чебоксары. Я смотрел в окно на фермы с едва видимыми в сумерках призраками тракторов и коров, березовые чувашские кладбища, такие яркие в темноте, одиноких рыбаков на ледяном ручье и черное небо над ними и думал, что, может быть, человеку давно пора было найти свое новое место. Эпидемия закончила старую жизнь семи или семидесяти семи поколений, но мы остались там же в ожидании новой реальности, очередных ковидных выплат, возврата долга от соседа, утреннего звонка будильника к работе, похлопывания себя по карманам в поисках первой за день сигареты. Что в старом мире могла предсказать мне Хирли Буш? Следующую станцию метро? Новый роман Пелевина? Опять гибель хора?

— Электрик придумал историю о семи поколениях, — сказала на это Лена, — просто ему

не нравится жить в деревне, потому что старый дом, нет денег и дети разъехались. А еще скучно.

«Но ведь если я хотя бы немного прав, то это значит, мой переезд в Чувашию был правильным решением, — думал я дальше, — что же первое тогда нужно сделать на новом месте, если время идет так быстро, что слот второго поколения занят уже сейчас?»

Маленький Миша, еще никогда не пивший самогон с электриками, спал в детском кресле на заднем сиденье.

2

**ФЕВРАЛЬ / НАРҖС —
НОВЫЙ ДЕНЬ**

ЗЛОЙ (ХАЯР)

Без редукции, как ее понимают лингвисты, Москва становится механическим, посторонним звуком, ничем не напоминающим о городе, в котором я родился и прожил почти сорок лет. Мо-о-сква, что это? Чавканье резинового сапога в грязи у станции «75-й километр»... Нет, в названии Москвы должно звучать две буквы «а», а еще лучше — три. В общем-то, так и есть.

— Хаяр, — выдохнул я, и чувашские бабушки рассмеялись.

— Хӑяр говори, — сказала бабушка Люба, Любагу, — это значит «злой». А хаяр — это огурец.

Огурцом мы, понятно, закусывали крепковатый, злой самогон.

— Хояр, — сказал я.

— Хорошо, лайях, — одобрила бабушка Тоня, соседка.

По деревенской привычке Тоня вдруг начала говорить громче, чем остальные за столом, все повышая и повышая голос, заполняя собой весь маленький деревянный дом, построенный полвека назад несоразмерно большими усилиями. Однажды, заглянув на чердак, я увидел перекрытия из расколотых вдоль бревен. Тогда

не хватало здесь обычных пил, да и других простых инструментов не было в этой провинции между Нижним Новгородом и Казанью, в миллионных городах, где те же люди в то же время делали самые современные в мире самолеты и суда на станках тонкой настройки. Скорее всего, бревна кололи заостренными деревяшками, клиньями, забивая их в трещины. Бревна были.

Сейчас новые дома строят из кирпича и каких-то гипсовых блоков, вместо чердаков — вторые этажи с большими комнатами для детей, у кого-то с чугунным балконом. Сейчас хозяевам чаще не хватает не инструментов и материалов, а детей.

Мой февраль того года, Наръс, новый день, заканчивался в чувашской деревне, в доме с четырьмя окошками на улицу из таких же точно домов, реже новых, еще реже заброшенных, соединенных, как сшитых, желтой ниткой газовой трубы, особо яркой в синеватых, уже мартовских сумерках.

Бабушки о чем-то разговаривали по-чувашски, я же пересел в кресло и смотрел в синее окно. По улице шел одинокий человек.

— Хяяр, — сказала вдруг бабушка Люба.

— Спасибо, мне больше не стоит, — ответил я.

— Хяяр на улице, — сказала она, — очень сердитый дед, я боюсь с ним здороваться.

— Очень злой, — сказала Тоня.

— Пиде Хояр, — повторил я.

У Хояра недавно сгорел дом, такая же бедная и добротная избушка у старой ивы в начале каскада прудов, какие выкопаны в каждой чувашской деревне для ирригации, гусей и красоты. Ива сгорела еще раньше: в нее попала молния. Неделю назад другое, домашнее, казалось бы, прирученное и организованное электричество оставило в прямоугольнике фундамента кучу пепла, углей и ржавых гвоздей. По пути в гости к бабушке Любе от дома родителей моей жены под ногами хрустели и лопались шиферные осколки, и чей-то автомобиль уже проехал по остаткам домашнего обогревателя из северного кварца, реклама которого года два шла по национальному телевидению. Хороший обогреватель, плохое электричество... Снег понемногу скрывал пожарище.

Хояр поселился у соседей — скорее всего, родственников, а потом его на зиму забрали в город племянники. Так закончился его Нарӑс. Закончу же и я свой февраль. История же с Хояром продолжится в июле, Утӑ, месяце сена, в том году горячем до засухи, в который я с удовольствием перенесусь вопреки моей хронологии.

...С женой Леной мы смотрели на торговый прицеп, оставленный кем-то у сгоревшей от удара молнии старой ивы. Рядом с метро в таких киосках на колесах продают колбасы и молоко.

По обуглившемуся остатку ствола вился хмель, и мелкие птицы, как по этажам, прыгали по его плетям между зеленых мягких шишек. Снизу в ирригационных прудах кричали гуси, и их пух поднимался в медленных горячих потоках воздуха куда-то выше крыш и столбов линии электропередачи, чтобы потом, в ночной сырости, выпасть хлопьями в густых и выцветших от жары полях. Ястребы кружились еще выше, фиксируя и гусей, и мелких птиц, и мертвого ежа под лопухом, и по-китайски пышный черный кокон волос моей жены.

Прицеп был старый, по углам ржавчина сняла белую краску, а одно из окон-витрин кто-то заделал свежим листом фанеры. Маленькие колеса, установленные по его центру тесно, как на шасси самолета, были спущены. По бокам прицеп подпирала дубовые пеньки.

Над витриной остались следы от вывески «Фрукты. Овощи», сбоку по трафарету краской случайного цвета было написано «улма-сырла». Нетрафаретный мазок превращал «с» в «ç», в двадцать вторую букву чувашского алфавита и знак для звука недостижимой сложности.

— Улма-шьсырла — это же «фрукты-овощи»? — спросил я Лену.

— Нет, — сказала она, — «фрукты-ягоды».

— Должно же быть «овощи», — сказал я.

Она посмотрела на меня. Гуси в пруду закричали особенно громко, и теплый ветер прилепил пару белых пушинок к волосам Лены.

— Кто в Чувашии станет покупать овощи? — сказала она.

В витрине, не заколоченной фанерой, появилось лицо цвета киви или старого картофеля. Все же цвета киви, улма. Недовольный старик с солженицынской бородой изучающе посмотрел на нас. Потом он начал есть вишню, роняя косточки в заросли под подбородком.

— Кажется, это не киоск, а новый дом Хояра, — сказал я.

— Да, жалко его, — сказала Лена, — надо ему принести что-нибудь вкусное.

— Я уже приносила, — сказала Тоня.

Маленькая бабушка Тоня проходила мимо с ведром молока. Может быть, в этом и есть смысл существования человека — быть маленьким, до убогости, и управляться при этом с огромным. С коровой или даже космосом, если достаточно образования.

Я не знаю, почему древние народы, из тех, что сохранили себя, оказались в мировой провинции. Сохранилась у них и предтеча социализма, то есть та необсуждаемая поддержка друг друга, как у евреев или армян, немного реже у татар и чувашей. Для прогресса требовалось как будто больше равнодушия. Банальная тема — одиночество в сити. Но может быть, дело в случайности, какой чаще остального оказывается эпидемия или война. Слышал, что у майя и византийских греков такой случайностью стало повальное пьянство.

Пока еще жив чувашский обычай ниме, когда всей деревней помогают в работе тому, кто нуждается. Не столько обычай, сколько образ совместного проживания. Ниме не только работа, но и небольшое угощение после него, веселые разговоры, как обычно, с одной рюмкой на всех, чтобы замкнуть свой круг. На ниме я никогда не попадал, впрочем, кто позовет гостя чистить хлев? На праздники же звали всегда.

— Принесла ему ночью молока. Люба принесла ему яиц. Мы его боимся, только ночью носим. Хяяр! — сказала Тоня.

— А нам что принести ему? — спросила Лена.

— Вишня, яблоко, картошка. Лето — всего полно, — сказала Тоня.

— Улма-щырла, — сказал я.

Тоня посмотрела на меня, что-то посоветовала Лене на чувашском, взяла ведро и ушла.

— Тоня сказала помогать ему ночью, когда он спит. Очень сердитый дед, — объяснила Лена.

— Не овощ, да, — ответил я.

Хояру я так и не помог. Ночью спал, а утром уехал в Чебоксары. Июль, месяц сена. В троллейбусах открыты окна, и сквозняк проносит запахи бензина и, немного, забродившей вишни. И маленькая чувашская кондукторша, зовут ее Люба или Тоня, сидит на своем деревянном стульчике в углу и тихо ест эту вишню двадцать шесть лет, и рога троллейбуса знают свои провода, и Волга, Атӑл, течет себе, чтобы ноги чувашских детей

могли входить в одну воду и дважды, и трижды, и сколько-то раз еще...

Все это было через полгода. А пока мы с женой ехали в троллейбусе по зимней улице между панельных домов, в которые российские власти всех эпох зачем-то запихивают народ, то ли от того равнодушия, которым кормится прогресс, то ли от незнания своей страны, что, как по расписанию, обнаруживается раз в четверть века. Свинцовая тьма гаражей, ЛЭП, ТЭЦ, казарменная аккуратность супермаркетов и опять панельные подъезды за голыми деревьями. Все для нашей жизни.

Что ж, начальство не позовут ни в хлев, ни на праздник. Хяяр.